

Ирина Каспэ

ГРАНИЦЫ СОВЕТСКОЙ ЖИЗНИ:

представления о «частном» в изоляционистском обществе.

Часть первая

Эта статья — в каком-то смысле побочный, в каком-то смысле основной результат работы над двумя смежными темами. Первая тема — типы читательской рецепции, характерные для десятилетий позднего социализма, способы целеполагания и смыслонаделения, определившие антропологию «позднесоветского» читателя¹; вторая — образ «советского», встроенный в сегодняшнюю индустрию отдыха и развлечений и отсылающий прежде всего к повседневному опыту 1960–1980-х годов².

Вопрос о том, как описать специфику этого — «позднесоветского» — опыта, по всей видимости, еще долгое время будет оставаться актуальным, несмотря на все увеличивающееся количество исследований, в которых подобная задача ставится и более чем успешно решается. Особенности изучения недавнего прошлого³, безусловно, усиливают необходимости многократно переуточнять и переоформлять уже найденные определения, а возможно, и повторять то, что кажется не раз проговоренным и очевидным, — коль скоро исследователю приходится иметь дело с «живыми» смыслами, подвижность которых периодически обнаруживает отсутствие отчетливых границ между памятью о прошлом и интерпретацией настоящего, между аналитическим инструментарием и культурным клише.

Работа с такими клише потребовала бы переформулировать заданный чуть выше вопрос следующим образом: что именно сегодня помечается словом «позднесоветское» и насколько персональный опыт, персональная память о десятилетиях позднего социализма или, скажем, опыт зрительский, опыт знакомства с фильмами этих лет (гораздо менее экзотичными, чем кинематограф пропагандистского «большого сталинского стиля»⁴) формируют представления о «советском» вообще? Если «позднесоветское» может воплощать в обыденном восприятии «советское», то каким образом, за счет каких ресурсов это происходит?

Такие риторические конструкции, как «советский быт» («неустроенный», «унизительный», «убогий»⁵ — в противопоставлении быту «западному»)

1 Каспэ И. Смысл (частной) жизни, или Почему мы читаем Стругацких? // НЛО. 2007. № 88. С. 202–231.

2 Каспэ И. «Съесть прошлое»: идеология и повседневность гастрономической ностальгии // Пути России: культура — общество — человек: Материалы Международного симпозиума (25–26 янв. 2008 г.). Т. XV. М.: Логос, 2008. С. 205–218 (по техническому недоразумению в публикации отсутствуют постраничные сноски; исходный, полный вариант статьи доступен по адресу: http://www.hse.ru/data/418/231/1226/Kaspe_Puti2008.pdf).

3 См. постановку вопроса в: 1990: Опыт изучения недавней истории // НЛО. 2007. № 83/84.

4 Ср. предложение Олега Аронсона различать эпоху «советского кино» («высокий стиль» соцреализма) и сменившее ее время «советского фильма»: Аронсон О. Советский фильм: неродившееся кино // Он же. Метакино. М.: Ad Marginem, 2003. С. 187–194.

5 Интересно, что именно понятие «убогости» концептуализирует Аронсон для описания ускользающего образа «советского фильма» (Там же. С. 191).

или «советская душевность» (в ностальгическом языке — антоним «бездушного консюмеризма»), нередко претендуют на то, чтобы ухватить, в позитивной или негативной модальности, некую эссенцию (поздне)советского.

Далеко не очевидно, в какой мере эти конструкции указывают на области повседневности, трансформированные политическим и идеологическим проектом социализма, а в какой мере сам язык, сам способ видеть социальную реальность через призму подобных оппозиций этим проектом задан. Проследить за тем, как изнутри «советского» складывались представления о «советском», как возникали и реализовались возможности дистанцированных образов «советской жизни», возможности взгляда на себя, не вполне управляемого (а в каких-то отношениях и совсем не управляемого) официальными идеологическими постулатами, — задача, как думается, важная. В этой статье я постараюсь приблизиться к ее решению.

ОКОЛО «ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ»

Возможно, одна из основных проблем описания десятилетий позднего социализма (условно говоря, от «оттепели» до «перестройки») — проблема категориальных рамок: как определить этот период? Если это уже не тоталитарное (в полном значении термина) советское, то какое? Собственно, как в сегодняшнем восприятии задаются границы советского, от чего отделяет нас рубеж августа 1991 года? И отделяет ли вообще?

Ответить на этот вопрос утвердительно позволяет понятие «закрытого», или изоляционистского, общества — оно и станет опорной точкой в дальнейших рассуждениях. Речь, разумеется, об изоляции в широком смысле — о закрытом (а точнее, все-таки затрудненном) доступе к самым разным социальным областям, о жесткости границ не только внешних, государственных, но и внутренних, нормативных. Термин «изоляционизм» представляется мне более нейтральным, чем «закрытость», именно его я буду использовать ниже: он не связан прямо с определенной исследовательской школой и, главное, не требует неопременного противопоставления идеальному типу общественного устройства («закрытое» как антоним «открытого»). Изоляционизм может быть рассмотрен не только через риторику недостатка («отсутствие открытости»), но как самостоятельная форма идеологического языка и политического поведения.

Специалисты по истории позднего социализма, кажется, единодушны в том, что пропагандистские ресурсы властного контроля в этот период чем дальше, тем больше исчерпывались. Высказывались предположения, что хрущевский лозунг построения коммунизма к 1980 году остался, в сущности, последней официальной идеологической программой, способной работать в качестве механизма целеполагания и задавать проективный образ будущего. Как замечает Дмитрий Горин, «по мере приближения заветной даты становилось все более очевидно, что воплощение идеала отодвигается, а на пути к нему возникают многочисленные “поворотные этапы” и “исторические вехи”, удивительно похожие друг на друга»⁶.

Некоторые исследователи допускают, что в этом контексте вообще не вполне точно говорить об «идеологии»: Алексей Юрчак предпочитает для обозначения официального дискурса конца 1950-х — начала 1980-х терми-

6 Горин Д. «Конец перспективы»: переживание времени в культуре 1970-х // ИЗ. 2007. № 2 (55).

нологию Бахтина — «авторитетное слово»⁷. В свою оригинальную и весьма убедительную концепцию описания позднесоветского Юрчак включает тезис о «гипернормализации» властного языка. Поскольку фигура Сталина занимала внешнюю и полновластную позицию по отношению к идеологии, позицию единственного живого носителя и хранителя объективной истины (что трактуется Юрчаком как своеобразное тоталитарное разрешение парадокса Клода Лефора, заполнение свойственного современным обществам разрыва между «идеологическими декларациями» и «идеологическим правлением»⁸), постольку трансляторы «авторитетного слова» времен позднего социализма были вынуждены компенсировать образованную лакуну гипернормализацией. По-прежнему ориентируясь на догму о существовании непререкаемых объективных («научных») законов, но не обладая полномочиями утверждать себя *над* этими законами, а значит, и утрачивая статус полноценных «авторов» транслируемых требований и правил, они оказывались втянуты в бесконечную коллективную сверку представлений об объективной норме, в изнурительные уточнения и переинтерпретации нормативного. В результате «то, *как* <идеологический> дискурс репрезентировался, становилось важнее того, *что* он репрезентировал»⁹.

Это различие между «что» и «как» — еще один ключевой момент в концепции Юрчака: вместо категорий, при помощи которых оно обычно обозначается, — «двоемыслие», «лицемерие», «фальшь», «симуляция», «игра» — исследователь предлагает аналитическую схему, снимающую всегда проблематичные вопросы о степени доверия (или недоверия) к официальному языку в период позднего социализма. Следуя за Джоном Остином, Юрчак выделяет два коммуникативных уровня — «констативный» (речевой акт как дескрипция, констатация фактов, передача смыслов) и «перформативный» (речевой акт как поступок, действие) — и показывает, что в интересующий нас период констативная функция идеологического высказывания обесценивалась и обесмысливалась, перформативная же, напротив, приобретала повышенное значение. Таким образом, в основе социального взаимодействия оказывался не «буквальный смысл» сказанного, а сама коммуникативная ситуация, конвенции, правила поведения, адаптивные механизмы. Для участников такого взаимодействия «авторитетное слово» задавало не столько определения реальности, сколько рамки социализации, оказываясь не истинным, но и не ложным, воспринимаемая вне критериев ложности или истинности, — как подчеркивает Юрчак, эти критерии возможны исключительно на констативном уровне, перформативные акты оцениваются совсем по другим принципам (уместность/неуместность, успешность/неуспешность etc.)¹⁰.

Описанный Юрчаком феномен посттоталитарной гипернормализации имеет непосредственное отношение к понятию изоляционистского общества. Собственно, гипернормализация подразумевает, что невозможность воспользоваться в полной мере пропагандистскими ресурсами поддержания существующего общественного устройства начинает возмещаться форсированием ресурсов оградительных. Можно сказать иначе: по мере того, как идеологический инструментарий все хуже справляется со своей

7 Yurchak A. Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation. Princeton University Press, 2006. P. 14.

8 Ibid. P. 10–11.

9 Ibid. P. 60.

10 Ibid. P. 19, 285.

основной задачей — утверждать собственные определения реальности, — он редуцируется в функциональном отношении до своеобразного заслона, шумовых помех, призванных заглушать «вражеские голоса» (ср. также метафору «шоры идеологии», которая получает распространение в публицистике второй половины 1980-х).

Тогда следующий этап в реконструкции логики изоляционистского общества — постановка вопроса о том, как соотносится этот гипернормализованный и гипернормализующий (оградительный, запретительный) властный язык с пространством персональных возможностей, явно расширяющимся по сравнению с десятилетиями сталинского тоталитаризма. Имеет смысл рассмотреть более детально, что это за возможности и как очерчивается такое пространство.

Нередко оно аналитически определяется при помощи конструкта «частная жизнь» — как представляется, весьма шаткого и ненадежного. Современные теории частного/публичного обязательно учитывают относительность такой оппозиции: одни и те же сферы могут быть частными в одном смысле и публичными в другом — символы, при помощи которых обозначается частное («дом», «семья», «повседневный быт» etc.), вписаны в публичную социальность, регулируются и структурируются публичными социальными институтами¹¹.

Так, можно говорить о неизменном приоритете «общественного» (в значении «государственного») в тоталитарных идеологических проектах, о последовательной стратегии изобличения и изничтожения «частных» интересов, но столь же непререкаемым окажется и другое утверждение: идеологическая кампания «за культурность быта», за «зажиточную и культурную жизнь», развернувшаяся в конце 1930-х, а затем — в начале 1950-х годов, имела целью не вытеснение, а, напротив, конструирование «частного». Книга Светланы Бойм «Общие места», разбирающая различные культурные представления о повседневном быте, показывает, что образ «шестидесятников» можно описать через опыт «безбытности», отторжения «сталинского уюта» и «домашнего хлама» (новая волна борьбы с «мещанством», берущая начало в риторике времен нэпа), иными словами, — через опыт подозрительности и презрительности к частным пространствам; однако этот же образ может быть соотнесен с ценностями личного выбора, неформального поведения и неформального общения — с тем, что Бойм называет «поисками частной жизни»¹².

Дело тут, разумеется, не в фактологических противоречиях — речь идет о различных определениях частной жизни, различных концепциях частного. В случае исследования «длинных семидесятых» (конец 1960-х — начало 1980-х) существование множества равноправных определений частной жизни особенно легко ускользает от внимания — тезис о «новом открытии частной жизни в эпоху застоя»¹³ относится к числу «общих мест», смысл которых, вроде бы, интуитивно ясен, внутренне непротиворечив и, на первый взгляд, не требует деконструкции.

Возьмусь тем не менее предположить, что за указанием на сферу частного, «открывающуюся» или «пробуждающуюся» с началом «оттепели», а особенно — в эпоху застоя, стоит несколько параллельных сюжетов.

11 См., например: Warner M. *Publics and Counterpublics*. N.Y.: Zone Books, 2005. P. 21–63.

12 Бойм С. *Общие места: Мифология повседневной жизни*. М.: НЛО, 2002. С. 59, 118.

13 Там же. С. 59.

Один из них — меняющиеся модусы публичного обсуждения тем, связанных с семьей, браком, взаимоотношениями между мужчиной и женщиной, меняющиеся режимы репрезентации телесности, быта, повседневных практик: с середины 1950-х, по мере падения «большого стиля», публике предъясняются проблемы и ракурсы, которые ранее не проговаривались и не демонстрировались и потому, как показывает в своем исследовании Татьяна Дашкова, воспринимаются в качестве «конфликтных» и «интимных»¹⁴.

Другой сюжет, который может подразумеваться под «открытием частной жизни», связан с относительной легитимацией конsumerистских практик и рождением сложноустроенной фигуры советского потребителя — процессом, отчасти начавшимся еще при жизни Сталина, в послевоенные годы (когда, как замечают Оксана Запорожец и Яна Крупец, «западные образцы благополучной бытовой жизни оказываются наиболее открытыми советскому человеку и требуют идеологического объяснения, размывая существующую нормативность, стимулируя легитимацию потребления и комфорта»¹⁵), но в полной мере проявившимся во второй половине 1950-х, в период экономического роста, и достигшим пика в «длинные семидесятые», с началом нового экономического подъема и провозглашением развитого социализма.

Смежный сюжет — изменение принципов организации жилого пространства в больших городах, появление отдельных квартир, а уже в 1970-е — новых принципов собственности: кооперативного жилья, личных автомобилей, дачных участков. Описывая этот процесс, Илья Утехин заключает: «Обладая собственным огороженным, хотя бы и весьма ограниченным, пространством, обладая мобильностью и в определенной мере неприкосновенностью в границах своей собственности, гражданин ощущал себя и свои права существенно иначе, чем раньше, когда у него не было ничего»¹⁶.

И, наконец, сюжет, так или иначе дополняющий все предыдущие: в качестве «собственного огороженного» приобретает не только пространство, но и время. На рубеже 1950—1960-х годов официальную санкцию получает понятие «досуга»¹⁷. Именно в этот период стартуют первые проекты (под руководством Германа Пруденского, Василия Патрушева), исследующие на материале опросов поведение респондентов (то есть «трудящихся») в быту; а несколько позднее — в известной книге Бориса Грушина — оформляется законченная концепция «социологии свободного времени»¹⁸. В официаль-

14 См. об этом: Дашкова Т. Границы частного в советских кинофильмах до и после 1956 года: проблематизация переходного периода // СССР: Территория любви: Сб. статей. М.: Новое издательство, 2008. С. 156—164.

15 Запорожец О., Крупец Я. Советский потребитель и регламентированная публичность: новые идеологемы и повседневность общепита конца 50-х // Советская социальная политика: сцены и действующие лица, 1940—1985 / Под ред. Е. Ярской-Смирновой и П. Романова. М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2008. С. 318.

16 Утехин И. Особенности неуклонного роста в условиях зрелости // НЗ. 2007. № 4 (57).

17 Я чрезвычайно признательна Константину Богданову, подсказавшему данный поворот темы во время моего выступления с докладом «Жизнь без свидетелей: Представления о частной жизни в изоляционистском обществе» (XVII Банные чтения, Москва, 2—4 апр. 2009 г.).

18 Грушин Б.А. Свободное время: Актуальные проблемы. М.: Мысль, 1967. История и обширная библиография советской «социологии свободного времени» представлены в: Социология в России / Под ред. В.А. Ядова. 2-е изд. М.: Издательство Института социологии РАН, 1998.

но утвержденной — вошедшей в Большую советскую энциклопедию — версии этой концепции синонимичные понятия «досуг» и «свободное время» определяются следующим образом:

***Досуг**, часть вне рабочего времени, которая остается у человека после исполнения непреложных непроездственных обязанностей (передвижение на работу и с работы, сон, прием пищи и др. виды бытового обслуживания). Деятельность, входящую в сферу Д., можно условно разделить на несколько взаимосвязанных групп. К первой из них относятся учеба и самообразование в широком смысле слова, т. е. различные формы индивидуального и коллективного освоения культуры: посещение публично-зрелищных мероприятий и музеев, чтение книг и периодики, слушание радио и просмотр телевизионных передач. Другую, наиболее интенсивно развивающуюся группу в структуре Д. представляют различные формы любительской и общественной деятельности: самостоятельные занятия и увлечения (хобби), физкультура и спорт, туризм и экскурсии и т.д. Важное место в сфере Д. занимает общение с др. людьми: занятия и игры с детьми, товарищеские встречи (дома, в кафе, на вечерах отдыха и т.д.). Часть Д. расходуется на пассивный отдых. Социалистическое общество ведет борьбу за вытеснение из сферы Д. различных явлений «антикультуры» (алкоголизм, антиобщественное поведение и др.)¹⁹.*

***Свободное время**, часть вне рабочего времени (в границах суток, недели, года), остающаяся у человека (группы, общества) за вычетом разного рода непреложных, необходимых затрат. <...>*

Применительно к условиям социализма можно говорить прежде всего о двух основных функциях С.в.: функции восстановления сил человека, поглощаемых сферой труда и иных непреложных занятий, и функции духовного (идейного, культурного, эстетического и т. п.) и физического развития человека, приобретающей все большее значение. <...>

Социалистическое общество последовательно стремится сократить величину рабочего дня. Вместе с тем на современном этапе развития объем С.в. в значительной степени определяется временем, затрачиваемым на некоторые непреложные затраты в рамках вне рабочего времени, в первую очередь на бытовые нужды и транспорт. Поэтому главными путями увеличения объема С.в. являются развитие и совершенствование служб быта, внедрение в практику более рациональных принципов городского и промышленного строительства, расселения и т.д.²⁰

Из этих определений видно, откуда, собственно, берется досуг, каким образом удастся выгородить свободное время: подразумевается, что оно является результатом определенной социальной политики, выразившейся, с одной стороны, в серии документов о сокращении рабочего дня (начиная с указа Президиума Верховного Совета СССР 1956 года «О сокращении продолжительности рабочего дня для рабочих и служащих в предвыходные и предпраздничные дни»), с другой — во всевозможных директивах, адресованных службам быта (постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР «О мероприятиях по улучшению работы предприятий общест-

19 Мирский Э.М. Досуг // Большая советская энциклопедия: В 30 т. 3-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1970. Т. 8.

20 Грушин Б.А. Свободное время // Там же. Т. 23.

венного питания», 1956; «О дальнейшем улучшении бытового обслуживания населения», 1962 и др²¹).

Однако всем этим сюжетам, в основе которых лежит общая интрига — появление новых сфер разрешенного, обязательно сопутствует фактология запретов и ограничений: легитимация досуга совпадает по времени с кампанией по борьбе с тунеядством²²; легитимация собственности и потребительских практик достигает пика в период дефицита; за падением «большого стиля», который предельно жестко очерчивал круг допустимого к обсуждению и показу, следует возникновение специфических режимов работы цензурного механизма — по определению Сергея Ушакина, повышено «тревожных» и даже «параноидальных»²³.

Не исключено, что в самом моменте колебания между вроде бы возможным, но принципиально недоступным, между легитимным и запретным проявлена парадоксальная логика изоляционизма. Тогда оказывается, что сферы возможного, «открывающиеся» во второй половине 1950-х, неточно определять, руководствуясь просто количественным критерием (дозволено больше, чем при Сталине, но все равно не слишком многое), — сами эти сферы конструировались весьма специфическим, изоляционистским образом. Властное распределение предназначенных для персонального пользования ограниченных фрагментов пространства и времени опиралось на тезис о «полной и окончательной победе социализма» (официально закрепленный в 1959 году) — «объективные» законы развития социалистического общества подразумевали, что подобные зоны станут (за вычетом отдельных искоренимых недостатков) местом самовоспроизводящейся нормы советского образа жизни.

Пожалуй, наиболее показательный пример здесь — идея «свободного времени». Собственно говоря, в каком смысле это зона «свободная»? Прежде всего — в функциональном: правом попасть в социалистическую зону досуга обладают только трудящиеся, однако само по себе свободное — от общественной и бытовой работы — время нефункционально, избыточно. Или, точнее, условно функционально: в соответствии с официально одобренной трактовкой досуг предназначен не только для восстановления сил перед новыми трудовыми подвигами²⁴, но и для «приобретающего все большее значение» духовного и физического самосовершенствования советского человека. Как представляется, проблематичная задача определить нормы и рамки такой лишенной строгого функционального смысла, не связанной жестко с риторикой «общественной пользы», почти бесполезной советскости существенно стимулировала гипернормализацию властного языка (маскирующую утрату ориентиров и необходимость про-

21 См. об этом: *Орлов И.Б.* Советский сервис: сущностные характеристики и границы отрасли // Наука — сервису (VIII—XI): Сборник избранных докладов Международных научно-практических конференций. Выпуск «Гуманитарный сервис». М.: ФГОУВПО «РГУТиС», 2007. С. 416—431.

22 См. об этом: *Лебина Н.* Антимирь: принципы конструирования аномалий, 1950—1960-е годы // Советская социальная политика: сцены и действующие лица, 1940—1985. С. 255—265.

23 См., например: *Ушакин С.* Следствие ведут: «знатоки», и не только // НЗ. 2007. № 3 (56).

24 Ср., например, функционалистскую риторику первых изданий «Книги о вкусной и здоровой пище».

должать поиск того, что потенциально угрожает норме, почти наугад, вслепую), — вплоть до формальных («перформативных») постулатов о советской морали и постоянного, практически немотивированного мерцания границ между разрешением и запретом в период «длинных семидесятых», на закате позднего социализма.

Если официальное расширение границ дозволенного запускало машину гипернормализующего запрета, то гипернормализация, в свою очередь, провоцировала возникновение особых практик и типов опыта, выпадающих из зоны действия официального языка: от теневого экономики²⁵ до специфических неформальных сообществ («неофициальный круг друзей, не товарищи, а родственные души, “свой”»²⁶). Подобные практики тоже нередко подразумеваются исследователями под «открытием частной жизни» или, точнее, «уходом в частную жизнь»²⁷, — понятно, что в этом случае категория частной жизни особенно нуждается в аналитических кавычках и может работать исключительно как метафора, указывающая на определенную систему культурных ценностей; в более буквальном смысле такое ускользание от официальной нормативности будет описываться в терминах «приватно-публичной сферы» или, по предложению Виктора Воронкова, «другой публичности»²⁸.

Юрий Левада в своем исследовании «советского простого человека» связывал нагромождение (до принципиальной невыполнимости) официальных нормативных предписаний с формированием «человека лукавого»: «Сосуществование и взаимодействие различных *нормативных* полей со своими критериями дозволенного-недозволенного, одобряемого-неодобряемого — присущи разным общественным системам, в которых имеется разграничение будничного и праздничного, своего и чужого, приватного и официального и т.д. Советская специфика (вполне сохраненная и ныне) состоит в том, что разграничения нормативных полей размыты, смазаны. Лукавое сознание легко переходит условные барьеры, находит многочисленные лазейки в предписаниях — короче говоря, ведет игру без правил (или игру с самими правилами)»²⁹. Алексей Юрчак, оперируя различием констативов и перформативов, в интерпретации фактически того же социального механизма ставит перед собой задачу увидеть его «творческий» потенциал: опыт перехода условных нормативных барьеров, чреватый ускользанием или выпадением из координат здесь-и-сейчас («детеррито-

25 См.: *Горин Д.* «Конец перспективы»: переживание времени в культуре 1970-х; *Ушакин С.* Следствие ведут: «знатоки», и не только; *Утехин И.* Особенности неуклонного роста в условиях зрелости.

26 *Бойм С.* Общие места. С. 118. См. также: *Гудков Л.Д., Дубин Б.В.* Интеллигенция: Заметки о литературно-политических иллюзиях. М.: Эпицентр; Харьков: Фолио, 1995. С. 55; *Yurchak A.* Everything Was Forever, Until It Was No More. P. 102–108.

27 *Бойм С.* Общие места. С. 118.

28 *Воронков В.М.* Проект «шестидесятников»: движение протеста в СССР // *Отцы и дети: Поколенческий анализ современной России.* М.: НЛЮ, 2005. С. 192–196.

29 *Левада Ю.А.* Человек лукавый: двоемыслие по-русски // *Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены.* 2000. № 1 (45) С. 20. См. также: *Советский простой человек: опыт социального портрета на рубеже 80–90-х /* Отв. ред. Ю.А. Левада. М.: Интерцентр, 1993.

риализация», «существование *вне*»³⁰), исследователь описывает скорее как погружение в многочисленные миры воображаемого, в которых фантазия и греза соседствуют со стебом, особой позднесоветской формой иронично-го дистанцирования от любых буквальных значений.

Мне представляется важным акцентировать тот факт, что механизм, о котором идет речь, — прежде всего компенсаторный. В этом качестве я и попытаюсь его рассмотреть — вне модусов идеализации или осуждения. Стараясь уловить ту «советскую специфику», которая отличала десятилетия позднего социализма, и зафиксировать, как складывались представления об этой специфике, я буду в первую очередь иметь дело с областью повседневности, с опытом «обычного» существования внутри изоляционистского общества.

Некоторые координаты такого опыта, безусловно, задает тот обозначенный выше набор значений, который закреплен за понятием позднесоветской «частной жизни». Но это же понятие (а точнее, конечно, комплекс понятий, гибридное сочетание различных конструкций «частной жизни» — культурных, идеологических, исследовательских) может не только выявлять, но и маскировать проблемные ракурсы, представляющиеся в данном случае первостепенными.

В одном из таких ракурсов — ценностном — понятие частной жизни является почти синонимом, если не эвфемизмом, «смысла жизни», иными словами, прочно связано с процедурами целеполагания и смыслонаделения. Жесткое противопоставление «частного» «общественному» (то есть «государственному») в тоталитарном идеологическом языке диктовало специфическую модель целеполагания, специфическое — строго функциональное — видение социальной роли (риторика «общественной пользы», «общественного служения» etc.). Как я постараюсь показать, именно подобный смысловой режим определил и высокие ценностные ожидания, которые в дальнейшем начали проецироваться на идею частной жизни, и символическую нагруженность этой идеи (в том числе — особую традицию отождествления частного и интимного).

В другом ракурсе — нормативном — «частная жизнь» нередко противопоставляется официальным регулятивным стандартам; пытаюсь избежать столь схематичной оппозиции официальное/частное, Алексей Юрчак вводит уточняющий термин — «нормальная жизнь»³¹. Территория «нормальной жизни» располагается между позициями активиста и диссидента, между конформизмом и сопротивлением официальным нормам. «Нормальная жизнь» — это не оппозиционная, а *другая* нормативность; она утверждается, конечно, на уровне перформативного проигрывания значений: опознать друг в друге «нормальных людей» или «своих»³² означало оказаться в сообществе тех, кто адаптирован к «реальным» социальным законам. Понятно, что «нормальная жизнь» существует вне разметки границ между различными социальными сферами (публичной, приватно-публичной, частной) — Юрчак обнаруживает дискурс «нормальной жизни» и на комсомольском собрании, и в рокерской котельной, и в частной переписке.

30 Yurchak A. Everything Was Forever, Until It Was No More. P. 126–157.

31 Ibid. P. 8.

32 Ibid. P. 102–108.

Итак, я буду ориентироваться на значения (образы, символы, метафоры) частной жизни, в то же время их проблематизируя, уделяя особое внимание тем смыслам, которые могут стоять за понятием «частная жизнь», подменяться и вытесняться им. Как представляется, общим для многообразных семантических полей, пересекающихся с этим понятием, является то, что все они указывают на социальные зоны, не предназначенные (а возможно, даже неразличимые, незаметные) для *чужого, стороннего* взгляда. В конечном счете, такой дистанцированный взгляд одновременно и разрушает «частную жизнь» (переводит в общий, публичный модус), и ее создает (делает проявленной, видимой, осознаваемой).

Столь очевидная значимость в этом контексте метафор зрения и побудила автора этого текста обратиться к непривычному для себя визуальному материалу — ниже, в первой части статьи, речь пойдет о карикатурах журнала «Крокодил»; вторая часть (она готовится к публикации в последующих номерах «НЛО») будет посвящена фильмам Эльдара Рязанова. Этот исследовательский опыт, конечно, не делает меня специалистом в *visual studies*, предлагаемый разбор — ни в коей мере не искусствоведческая (или киноведческая) студия. Мой предмет — те нормативные и ценностные ракурсы карикатурного и кинематографического показа, которые могут свидетельствовать о позднесоветской социальной оптике. Собственно, фигура свидетеля — инстанция, глазами которой мы видим «советскую жизнь» (со всеми ее «лакунами» и «лазейками») и благодаря которой эта жизнь оказывается проявлена, переводима на язык зрительских представлений, — и будет меня прежде всего интересовать.

Выбор источников мотивирован тем, что они, во-первых, имеют дело с модусом комического (особенно тесно связанным с проблемами нормативности), во-вторых, задают довольно широкий диапазон репрезентации этого модуса, в-третьих, — эти источники являлись и являются частью общего опыта для достаточно обширной аудитории. Если в случае рязановских фильмов какие бы то ни было комментарии к последнему тезису излишни, то в случае «Крокодила» требуются некоторые пояснения.

Хотя подписка на журнал регулировалась официальными инстанциями и в некоторые периоды (особенно в самые последние годы социализма) была жестко лимитирована, «Крокодил» просматривался в библиотеках, в гостях etc. существенным количеством читателей — по некоторым оценкам, даже превышающим внушительный тираж издания (к середине 1980-х — 5 млн. 600 тыс. экз.)³³. При отсутствии статистики, позволяющей подтвердить или опровергнуть это предположение (равно как и исследований социального состава аудитории «Крокодила», к тому же неоднократно менявшегося на протяжении десятилетий существования журнала), можно утверждать с уверенностью, что «Крокодил» сегодня прочно включен в ностальгический образ (поздне)советского. Сайт «Энциклопедия нашего детства. 1976–1982», непосредственно посвященный конструированию и транслированию этого образа, отзывается о «Крокодиле» так: «Для многих детей того времени “Крокодил” был самым популярным журналом, даже популярней, чем “Мурзилка”, “Пионер” и “Костер”»³⁴. Тот факт, что на закате своего советского существования са-

33 См., например, интервью карикатуриста «Крокодила» Владимира Молчанова радиостанции Финам FM: <http://finam.fm/archive-view/812/>.

34 http://www.76-82.ru/smi_magaz/420.html.

тирический журнал оказался излюбленным детским чтением (или, как минимум, может восприниматься в качестве такового сейчас, при ретроспективном взгляде), свидетельствует о его массовой известности и о длительной истории прочтений или, точнее сказать, пролистываний, которая этому факту предшествовала.

СОВЕТСКОЕ ДОСТОЯНИЕ И СОВЕТСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ. КАРИКАТУРЫ ЖУРНАЛА «КРОКОДИЛ»

Журнал «Крокодил» был основан в 1922 году (первый номер вышел 27 августа в качестве приложения к «Рабочей газете»), а к 1933 году оказался фактически единственным сатирическим журналом на русском языке, воплощением политически верной идеи сатирического журнала и, разумеется, образцом для региональных и «национальных» вариаций этой идеи. Безусловно, он следовал за всеми извивами официальных программ, непременно и мгновенно реагируя на каждую из государственных кампаний; редакционные стратегии «Крокодила» контролировались и регулировались соответствующими партийными директивами (постановления ЦК ВКП (б) «О журнале “Крокодил”», 1948, и «О недостатках журнала “Крокодил” и мерах его улучшения», 1951) — причем в некоторых отношениях и в некоторые периоды контроль был более усиленным, чем в случае других средств массовой информации (ср. известный доклад Георгия Маленкова на XIX съезде партии в октябре 1952 года о политическом значении советской сатиры: «Нам нужны советские Гоголи и Щедрины, которые огнем сатиры выжигали бы из жизни все отрицательное, прогнившее, омертвевшее, все то, что тормозит движение вперед»³⁵).

Однако было бы упрощением говорить о «Крокодиле» как о буквальном рупоре государственной идеологии. И здесь, как представляется, обозначенный Алексеем Юрчаком разрыв между констативным и перформативным уровнем коммуникативных актов может существенно прояснить ситуацию (хотя в исследовании самого Юрчака «Крокодил» и рассматривается исключительно как транслятор официальных норм). В годы позднего социализма, по мере того как этот разрыв становится все ощутимее, материалы «Крокодила» начинают восприниматься не только как задающие границы нормы, но и как предоставляющие (вопреки своему прямому, буквальному смыслу) притягательную возможность заглянуть за эти границы: через модус запрета проговаривается, приобретает статус существования то, что прежде оставалось в культуре невидимым. Во-первых, речь идет о границах «правильной» повседневности, о нормах и девиациях «советского образа жизни»: сниженное изображение бытовых, повседневных практик включено в репертуар «Крокодила» с момента его основания — журнал появляется в разгар борьбы с мещанством как феноменом и почти синонимом нэпа (ср. программную декларацию в первом номере, написанную Демьяном Бедным: «Решили мы, что пришло время, / Для очистки нэповского Нила, / Выпустить КРАСНОГО КРОКОДИЛА»³⁶).

35 Маленков Г.М. Отчетный доклад XIX съезду партии о работе Центрального Комитета ВКП(б). М.: Госполитиздат, 1952. С. 115.

36 Красный крокодил — смелый из смелых! — против крокодилов черных и белых // Крокодил. 1922. № 1. С. 2.

Во-вторых, согласно партийным директивам, «Крокодил» должен был оставаться на страже государственных границ, транслируя нормы, отделяющие собственно советское от несветского (см. постановление «О журнале “Крокодил”»: «Журнал должен <...> подвергать критике буржуазную культуру Запада, показывать ее идейное ничтожество и вырождение»³⁷).

Таким образом, на страницы «Крокодила» попадали новейшие тенденции моды (гиперболизированные, но потому особенно наглядные), символы молодежных субкультур, от аксессуаров до сленга (можно сказать, что «Крокодил» принимал деятельное участие в конструировании образа стилиста и советского хиппи), знаки воображаемого Запада — «Мартини», «Мальборо», голливудские фильмы, исполненные насилия и соблазна, таинственные рок-звезды, пресыщенные буржуа и ночующие в картонных коробках безработные с удивительно светлыми, честными лицами (так рисовались только они — и это создавало, по контрасту с размещенными на соседних страницах гротескными физиономиями советских граждан, эффект «подлинной» или, что в данном случае то же самое, кинематографической реальности).

Сам тип карикатурного изображения, — с одной стороны, основывающийся на определенном наборе устойчивых, легко считываемых адресатами символов (своеобразные сюжеты-иероглифы могли воспроизводиться неоднократно на протяжении нескольких лет в практически неизменном виде), с другой стороны, допускавший некоторую игривость и даже фривольность, — оказывался удивительно близок к механизмам трансляции модного, «знакового», «культового». Такие знаки, конечно, начинали восприниматься вне дидактического контекста, вне критического посыла той или иной карикатуры. Разумеется, отсюда не следует, что к финальному десятилетию социализма «Крокодил» стал для своих читателей неким аналогом журнала мод или молодежного субкультурного издания — безусловно, с карикатурой трудно отождествиться, она вряд ли способна задавать модели поведения или самопрезентации. Речь о другом: о специфическом радостном чувстве опознавания и смакования запретного, о возможности заглянуть по другую сторону нормы — что всегда притягательно, даже если нормативная граница проводится буквально у тебя на глазах.

Итак, «Крокодил» не просто дидактически обозначал пределы дозволенного и недозволенного, но представлял собой повседневное чтение, не чуждое развлекательности (в 1970-е годы авторы журнала охотно признаются в желании «развлечь» читателя) и вообще являлся частью повседневного опыта. Говоря о «Крокодиле», я буду иметь в виду не столько «констативное» содержание карикатур, сколько «перформативный» эффект, который они производят, а главное, ресурсы, с которыми (и за счет которых) они работают.

Выбор такого ракурса позволяет оставить в стороне вопрос о том, в какой степени те или иные художники-карикатуристы разделяли сатирический пафос своих произведений. Ответ на него проблематичен и не входит в мою компетенцию. Журнал создавался в результате усилий многих, чрезвычайно разных авторов, движимых разными целями и приоритетами, разным видением своих задач, разными представлениями о том, какой должна

37 Постановление ЦК ВКП (б) «О журнале “Крокодил”» (1948). Цит. по: *Стыкалин С., Кременская И.* Советская сатирическая печать. 1917–1963. М.: Госполитиздат, 1963. С. 176–212.

быть карикатура. Предмет моего рассмотрения — итог этих усилий, коллективный проект, если угодно, — персонаж Крокодил, сохранивший идентичность, несмотря на периодические изменения состава редколлегии, и в полной мере обретавший голос в моменты экспликации очередных перемен в редакционной (и не только редакционной) политике (один из финальных вариантов самоидентификации Красного Крокодила — в «перестроечном» номере, целиком посвященном изобличению культа личности Сталина, — выглядел следующим образом: «С грустью могу констатировать: с легкой руки Иосифа Виссарионовича я превратился в винтик огромной Административно-Командной машины. И мои “заслуги” в деле шельмования троцкистско-зиновьевско-бухаринских изменников, вредителей, отравителей и космополитов, как это ни прискорбно, весомы. О чем я, раскаиваясь, и заявляю со всей крокодильской прямоотой, хотя и несладко мне это делать. Что ж, время у нас сегодня такое — надо говорить правду»³⁸). Иными словами, я постараюсь зафиксировать то, что можно увидеть, бегло перелистывая страницы — а ведь именно так «Крокодил» преимущественно и читался.

К 1953 году оформился определенный канон карикатурного изображения, который в весьма скором времени, еще до XX съезда и хрущевского доклада «О культе личности», начинает претерпевать ощутимые изменения. Одним из основных сатирических регистров в рамках этого канона являлось разоблачение двуличия; часто использовавшийся прием — разнообразное обыгрывание метафоры маски. Однако за маской положительного советского человека (он же «трудящийся» — трудолюбивый рабочий, компетентный служащий, ответственный начальник) фактически обнаруживается другая маска — тунеядца, алкоголика, очковтирателя, взяточника. Социальная девиация обозначается столь же условно и символично, как социальная норма. Скажем, карикатура И. Семенова (№ 9 за 1953 год) предлагала сопоставить поведение двуликого товарища Янусова на собрании (заявляет во всеуслышание: «Наш план реален!») и дома (признается жене: «Сомневаюсь, чтобы мы выполнили свой план!»): круглый обеденный стол, репрезентирующий домашнее пространство, и никак не мотивированная реплика за чаем, по своему строению напоминающая фразу из разговорника, — весьма характерный для «Крокодила» этих лет способ демонстрации «частного» в противопоставлении «общественному».

Слом этого канона (конечно, не являвшегося исключительной прерогативой журнала «Крокодил») проявляется в том, какое значение приобретают всевозможные излишества визуального ряда — как тщательно и увлеченно начинают прорисовываться различные детали карикатурного портрета, костюма, интерьера, какими разнообразными и яркими (хотя и, разумеется, комически-нелепыми) оказываются миры, подлежащие осуждению. К тому же они практически перестают прятаться под маской.

Рассматривая аналогичные процессы, но не на сатирическом материале, а на примере кинематографа, Татьяна Дашкова проницательно замечает, что «на смену “знаковости” и “образцовости” персонажей <...> приходит “обычность” и “узнаваемость”»³⁹. Со всеми поправками на специфику ка-

38 Тост, произнесенный Крокодилом по поводу 110-й годовщины со дня рождения И.В. Сталина // Крокодил. 1989. № 35. С. 2—3.

39 Дашкова Т. Границы приватного в советских кинофильмах до и после 1956 года: проблематизация переходного периода. С. 159.

рикатурного жанра здесь важно обратить внимание на то, как переопределяется и переоценивается столь значимое для советской культуры понятие *типичного*.

Принятое за два года до смерти Сталина постановление «О недостатках журнала “Крокодил” и мерах его улучшения» демонстрирует то скрытое напряжение, которое стояло за процедурой типизации — более чем легитимной, однако с неизбежностью подозрительной: с одной стороны, редколлегия «Крокодила» вменялась в вину публикация «надуманных, бессодержательных рассказов и стихов, слабых рисунков и карикатур, не имеющих серьезного общественного значения» (иными словами, репрезентирующих «нетипичное»), однако, с другой, констатировалось: «Нередко в “Крокодиле” единичные отрицательные факты выдаются за общие недостатки работы государственных, профсоюзных и других организаций, что создает у читателей неправильное представление о работе этих организаций»⁴⁰.

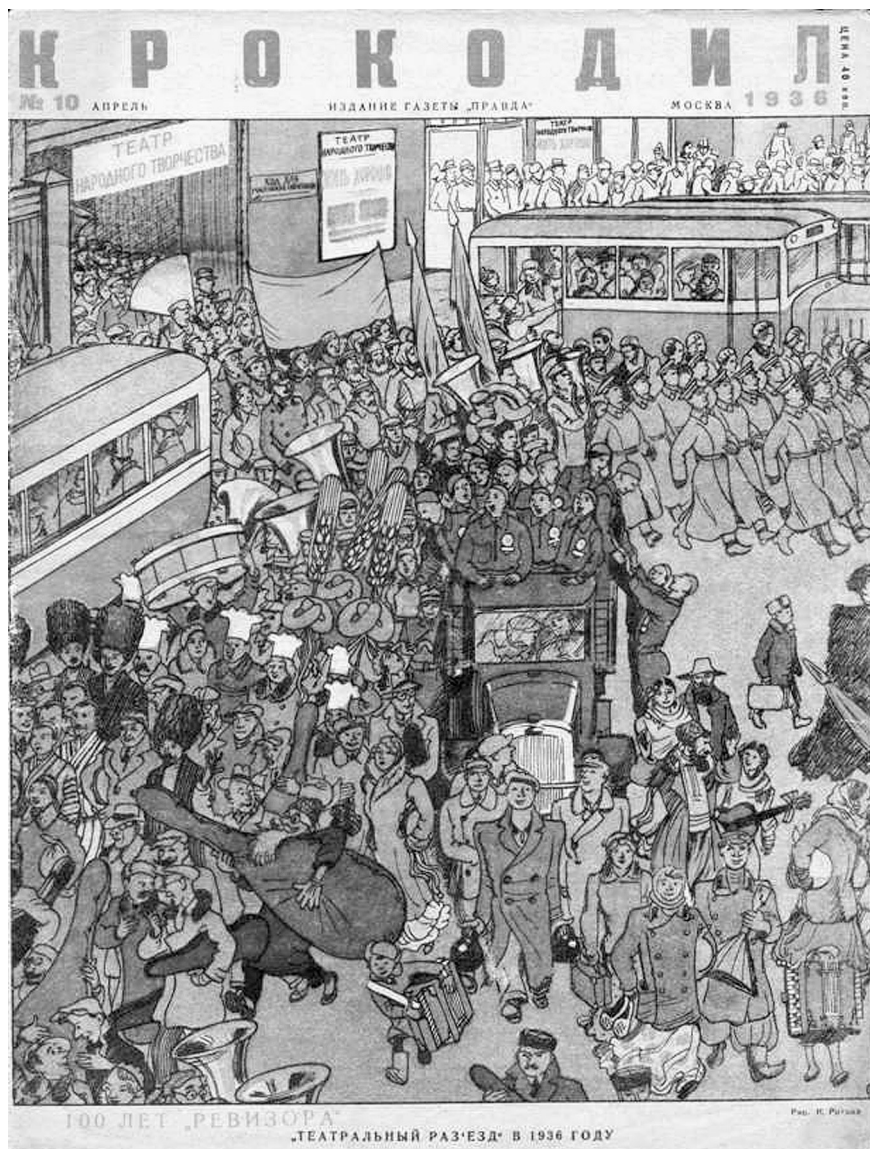
Опасность выдать «единичное» за «типичное» на протяжении нескольких следующих лет тщательно избегалась создателями журнала, и значительная часть рисунков сопровождалась пояснениями, призванными продемонстрировать, что высмеиваемые недостатки имеют рамки — подчеркнуто точные или, напротив, неопределенно-уклончивые: «В Бобынинской столовой газопровода Саратов—Москва готовятся изо дня в день одни и те же блюда» (1953. № 9); «Помещение Ершипосинской сельской библиотеки (в Чувашской республике) летом использовалось под конюшню» (Там же); «Нередко из-за бесхозяйственности некоторых руководителей предприятия уплачивают большие суммы штрафов за простои вагонов» (1953. № 4). Чрезвычайно заметная уже в самых первых номерах «Крокодила» фигура корреспондента (крокора), выезжающего на места, а также читателя, своевременно «сигнализирующего» о проблеме, задают здесь общий ракурс показа: мы видим ситуацию глазами того, кто находится внутри нее, однако занимает дистанцированную позицию свидетеля и обвинителя.

В дальнейшем такая позиция не исчезает со страниц журнала, однако к середине 1950-х годов ее заметно потеснил другой ракурс: существенно ослабевают прежняя осторожность в использовании инструментов типизации и обобщения, под типичным в самом деле начинает подразумеваться не столько санкционированный образец, сколько факт общего опыта (узнаваемое, характерное и харáктерное), и, собственно, признание типичности тех или иных сторон жизни делает их проницаемыми для стороннего взгляда, то есть определяет позицию смотрящего — ситуацию можно увидеть и показать уже постольку, поскольку она типична.

Избавляясь от жесткой необходимости специально подчеркивать, что речь идет об «отдельных недостатках», локализованных и скрытых внутри упорядоченного мира социальной нормы, карикатура осваивает новые изобразительные эффекты. В этом смысле чрезвычайно красноречивы рисунки с многофигурной композицией — своеобразные карикатурные панорамы публичной сферы.

Обложка одного из номеров за 1936 год (*ил. 1*), имитирующая взгляд фотографа-корреспондента (на этот же эффект работает и колористика рисунка — сепия с единичными вкраплениями других, приглушенных цветов, пре-

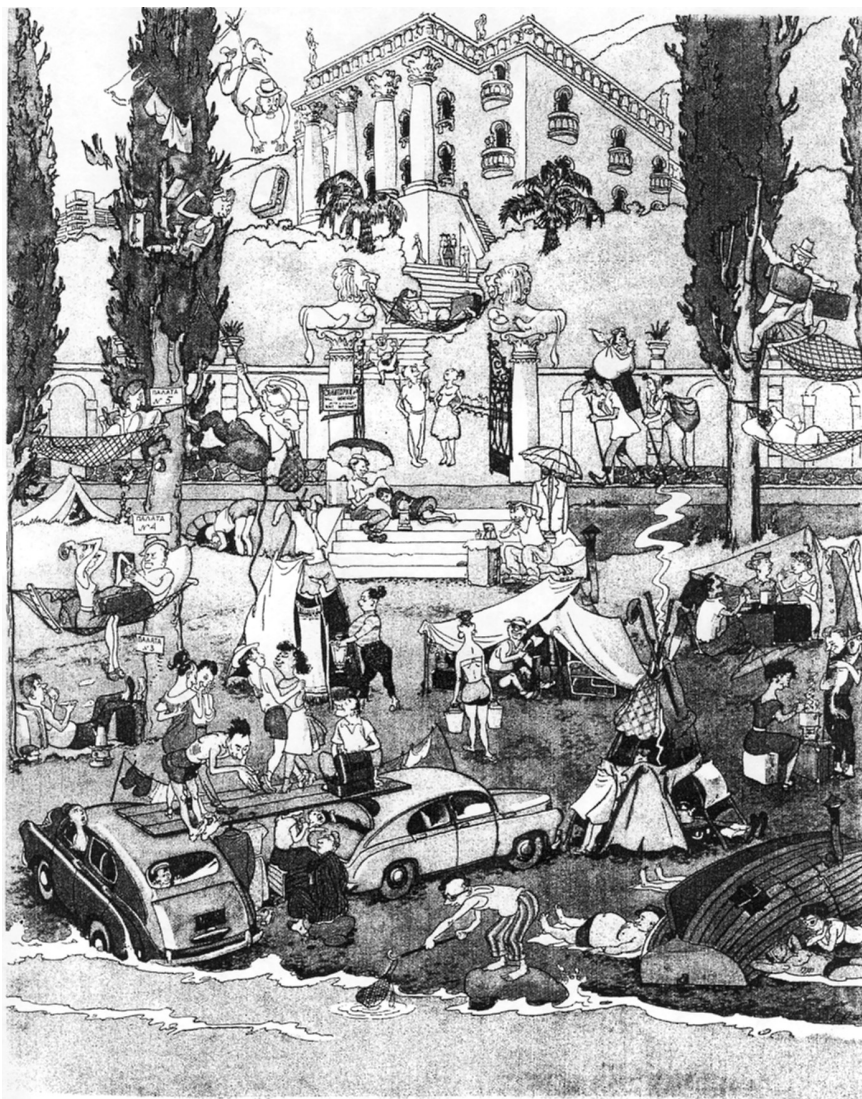
40 Постановление ЦК ВКП (б) «О недостатках журнала “Крокодил” и мерах его улучшения» (1951). Цит. по: *Стыкалин С., Кременская И.* Советская сатирическая печать. 1917–1963. С. 176–212.



Ил. 1 (1936. № 10).

имущественно бледно-алого), позволяет составить представление о том, как должны были выглядеть панорамные карикатуры в период расцвета «большого стиля» и в рамках канона, о котором говорилось чуть выше. Надо сказать, что для автора обложки — известного карикатуриста Константина Ротова, много экспериментировавшего с панорамной оптикой, — столь явное воплощение «большого стиля» скорее нехарактерно, хотя и явные отступления от канонического в 1930-е — начале 1950-х, конечно, были невозможны.

В 1956 году Ротов публикует карикатуру, в определенном отношении задающую основы *другого* канона панорамного изображения, вводящую способы показа, которые художники «Крокодила» охотно используют в дальнейшем. Карикатура называется «Табор “диких” на Черноморском по-



Табор «диких» на Черноморском побережье.

Рисунки К. РОТОВА.

Ил. 2 (1956. № 19).

бережье» (ил. 2) и имеет дело с новым на тот момент сатирическим персонажем — «диким туристом», решившимся не связывать себя регламентирующими рамками курортных путевок и санаторного распорядка дня.

Турист — тот, кто самостоятельно осваивает и открывает для себя лазейку досуга, «свободного времени» и в принципе имеет на это право, в отличие от другого персонажа, который начинает все чаще появляться на страницах «Крокодила» примерно тогда же, в середине 1950-х, — тунеядца, иждивенца. Пренебрегающий заведенным порядком турист-дикарь и его совсем девиантный двойник — тунеядец — занимают своеобразную позицию вне социальных конвенций и социальных связей. Табор «диких» на Черноморском побережье — уже не синхронно реагирующая и монохром-

но раскрашенная толпа (вроде той, что организовано покидает театр народного творчества, где коллективными усилиями был представлен спектакль под зловещим названием «Жить хорошо»); пестрые персонажи этого рисунка в одиночестве или в тесной компании занимаются своими делами (а точнее, своим отдыхом), обживая при помощи самого разнообразного скарба не предназначенное для этих целей публичное пространство.

Пространство, утыканное палатками, завешенное гамаками и захламленное домашней утварью, контрастирует не только с широкими площадями, словно специально созданными для упорядоченных массовых шествий, но и с другим образом советской цивилизации и общественных (государственных) ресурсов — тем, который еще тремя годами ранее утверждался (в том числе, разумеется, и «Крокодилом») в ходе кампании по борьбе за бдительность; собственно, всплеск этой кампании в 1953 году был своего рода агонией «сталинского» канона. Общественное пространство (в соответствии с декларациями «большого стиля» широкое, открытое, свободное, со множеством лесов, полей и рек) в то же время оказывалось организовано как частное — обнаруживалось невероятное количество дверей, замков и сейфов, за которыми и в которых бдительные граждане прятали друг от друга государственные секреты. Характерна подпись к рисунку Е. Коновалова, озаглавленному «Причина бдительности» (визуальный ряд предельно беден: на заднем плане служащий старательно запирает дверь, на переднем — двое других служащих вступают в ироничный диалог):

— Семен Семенович сегодня и дверь тщательно запер и пломбу не забыл наложить...

— Еще бы! Ведь он свою шубу в отделе оставил...

(1953. № 8)

«Общественное» предлагалось охранять не только с той же тщательностью, но и в том же режиме, что «частное».

В хаотичном наступлении «диких» на порядок и цивилизацию как будто бы учитывается это слабое место в идеологической конструкции — место, где истончается граница между государственным и частным. Как только выбивается мотивационная подпорка бдительности, государственное *в самом деле* начинает рассматриваться как частное — но не в смысле охраны общественных ресурсов, а в смысле их использования. Можно сказать, что на рисунке Константина Ротова частная жизнь заявляет о себе, захватывая и приспосабливая для собственных нужд ранее не принадлежавшие ей территории. Соответственно, отпадает необходимость в специальной инстанции свидетеля — нормативная позиция, будучи представлена здесь отстраненно-объективным взглядом сверху (откуда-то со стороны моря, примерно с высоты полета чайки), словно бы уступает активную роль почти неподконтрольной ей силе (еще раз подчеркну, что имею в виду, конечно, не буквальным смыслом карикатуры, а те эффекты, которые производит изображение).

«Табор «диких»» предвосхищает сразу два вроде бы не связанных между собой сюжета, впоследствии чрезвычайно востребованных в «Крокодиле». Один из них — разрушение природной среды безалаберными туристами (бесчисленные панорамы замусоренного и искореженного леса, иногда в сопровождении грустных диалогов запуганных зверей). Другой сюжет — частный захват «ничьих» (государственных, общественных) зон. В некогда общем пространстве улиц и дворов выгораживаются персональные делян-

ки и участки, наконец, начинает оккупироваться и обживаться основная зона советской общественной жизни — зона труда: конструкторские бюро и НИИ заполняются чужеродными атрибутами — вначале кроссвордами и журналами мод, затем вязанием, косметикой, кухонной посудой.

На самом деле эти сюжеты не так уж далеки друг от друга. В обоих случаях угрозе подвергается нечто незыблемое: в одном случае природа, в другом — цивилизация. В подобном ракурсе социальное, как и природное, оказывается областью готовых ресурсов, которые лишь расходуются, потребляются «табором диких». Восприятие пространства советской социальности (и вообще территории «советского») по аналогии и в тесной связи с представлениями о природных ресурсах поддерживается в 1970-х годах сырьевой ориентацией экономики. По наблюдению Дмитрия Горина, «динамика развития все более зависит не от интенсивности труда, а от ресурсов, подаренных природой. Эти ресурсы невозможно умножить, их можно только “сбергать” или “разбазаривать”»⁴¹.

Сатирически изображая негативный вариант обращения с ресурсами — их «разбазаривание», — «Крокодил» в 1970-х — начале 1980-х годов делает это принципиально иначе, чем во времена «большого стиля». «Растратчики» и «несуны» выглядят не столько опасными и опасяющимися изгоями, которых прямо на наших глазах настигает справедливое возмездие, сколько вполне социализированными, процветающими, ловкими и изобретательными членами общества. Получающие все большее распространение панорамные ракурсы позволяют увидеть «разбазаривание» как общую, массовую практику.

Еще один популярный ракурс показа — ситуация приема гостей, к изумленному (но ведь, как правило, и восхищенному) взгляду которых приглашает присоединиться карикатура: рачительные хозяева отдельных квартир с гордостью демонстрируют гостям, а заодно и читателям журнала, скажем, украденную по месту службы ЭВМ, вполне успешно подменившую собой мебельную стенку («Как хорошо она вписалась в комнату, а на работе все равно простаивала» — 1978. № 5, художник Г. Андрианов). Фигура гостя здесь выполняет примерно ту же функцию, что и фигура крокода, — функцию оптического инструмента, позволяющего увидеть скрытое от посторонних глаз. Но при этом модус увиденного существенно меняется: модели поведения, которые признаются не соответствующими норме (обличаются и высмеиваются), в то же время преподносятся уже не как общенародно осуждаемые («поступил сигнал»), а как одобряемые или, по крайней мере, принимаемые другими («так делают все»). Таким образом, идея отступления от социальной нормы оказывается предельно близка к той конструкции «нормальной жизни», о которой шла речь во вводной главке статьи.

Гость — инстанция, удостоверяющая в карикатурах последнего советского десятилетия потребительский статус хозяев, а значит, их способность соответствовать стандартам «нормальной жизни» («Теперь не стыдно и гостей принять», — вариации этой фразы очень часто используются художниками «Крокодила»). Такие стандарты выстраиваются прежде всего через подглядывание за жизнью других, через прямую, межличностную сверку знаков потребительского престижа — то есть практически без посредничества специальных социальных механизмов и институтов. Актуальные в тот или иной момент времени предметы общего вожделения — мебель, холодильник, ков-

41 Горин Д. «Конец перспективы»: переживание времени в культуре 1970-х.

ры, хрусталь, дефицитные книжные собрания — становятся для персонажей карикатур универсальными символами «нормальной жизни», нормами как таковыми. Однако настойчивое стремление к «нормальной жизни» оказывается сопряжено с переживанием неизбежной патологии: желание «жить нормально» побуждает героев «Крокодила» изворачиваться и исхитряться, *отприходуя* оказывавшиеся под рукой «общественные» («ничьи») ресурсы и *приспосабливая* те или иные продукты советской цивилизации под плохо совместимые с ней, подсмотренные («западные») модели повседневности (так, кухонная плита может быть переоборудована в музыкальный комбайн, а стиральная машина — использоваться для взбивания коктейлей).

Как представляется, карикатуры этого типа не просто отражают, доводя до абсурда, специфику потребительских практик времен позднего социализма (регулировавшихся, по емкой формулировке Ревекки Фрумкиной, «не монетарным, а статусным обменом»⁴²), но, возможно, имеют дело с чем-то более существенным — с антропологическим измерением. Проблематичная функциональность вещей, которые регулярно приходится использовать не по их прямому назначению, соответствует воплощенным в «Крокодиле» 1970—1980-х годов образам самих обитателей отдельных квартир и обладателей свободного времени, вдруг оказавшихся вне контекста социалистического труда, вне функциональной роли советского трудящегося (см. ил. 3). Тогда их потребительские попользования могут быть увидены и как попытки придания нового смысла себе и вещам — в обход утрачивающих смысл буквальных значений. Эти попытки, при всей их внешней успешности, скорее обречены: переносный, метафорический смысл плохо совместим с потреблением (вещи, приспособленные под выполнение несвойственных им функций, лишь вынуждают *делать вид*, что идея «нормальной жизни» воплотима), а потребление мало совместимо с тем сверхценным значением, которое ему таким образом приписывалось.

Итак, карикатуры «Крокодила» пусть не прямо, но косвенно позволяют проследить эволюцию образов «советской жизни» и подсказывают описание тех негативных представлений о советском, которые получают достаточно широкое распространение к концу «длинных семидесятых»: на излете социализма обнаруживается, что «советское» — кладезь ресурсов, которые плохо применимы в обычной, повседневной жизни; функции, закрепляемые официальной нормой за людьми и вещами, оказываются лишены всякого смысла; соответственно, «обычному человеку» приходится пускаться в сложные манипуляции с функциональностью, приспособливая и перекодируя⁴³ под собственные цели тот ограниченный набор ресурсов, который находится в доступе. Иными словами, «советское» и есть то, что заставляет ощущать «ненормальность» текущей повседневности и непрестанно стремиться к «нормальной жизни»; это рамка, которую никому не удастся игнорировать, но в то же время утверждающиеся стандарты «нормального (достойного) существования» регулярно побуждают *делать вид*, что рамки не существует вовсе.

42 Фрумкина Р.М. Человек эпохи дефицита // Теория моды. 2007. № 3. С. 140.

43 См. о значении процедуры «перекодировки» и вообще о практиках повышенной семиотизации повседневности в обществе позднего социализма: Ушакин С. Следствие ведут: «знатоки», и не только; а также: Каспэ И. Смысл (частной) жизни, или Почему мы читаем Стругацких?

ИРИНА КАСПЭ



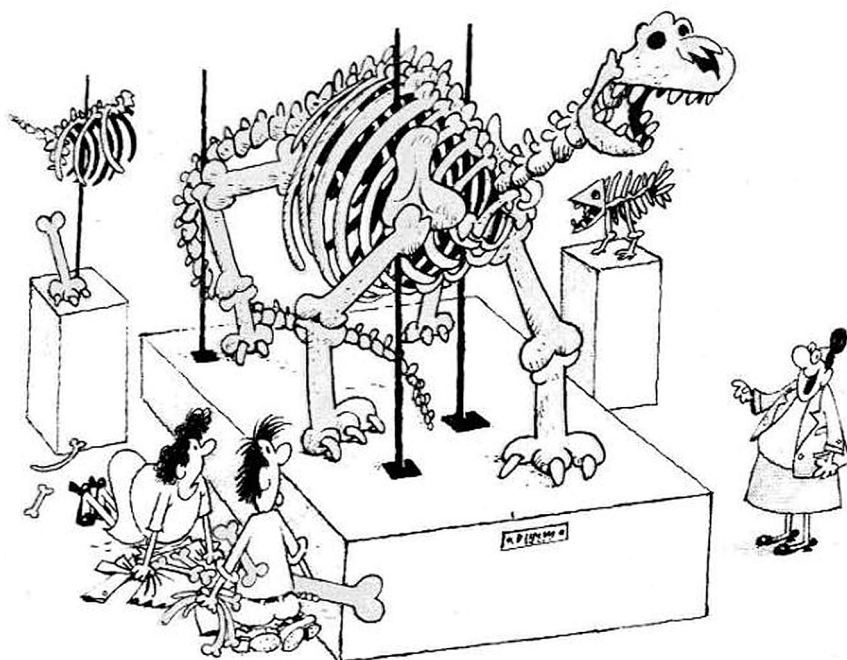
— Я купила отличный матерьяльчик для зимних штор!

Рисунок
Ю. ЧЕРЕПАНОВА,

Ил. 3 (1969. № 29).

Такой зазор между более или менее открытыми для взгляда *другими, иными* (прежде всего, разумеется, иностранными) моделями повседневного существования и обреченными на неудачу попытками привить их к окружающей социальной реальности, а равно и сама конструкция «нормальной жизни», этот зазор компенсирующая и маскирующая, — в значительной мере позволяют судить о том, «как возможно» (если воспользоваться знаменитым зиммелевским вопросом) и как устроено изоляционистское общество.

В то время как область работы официальных нормативных (идеологических) практик смещается к границам, к бесконечному, гиперакцентированному переопределению рубежей запрещенного и разрешенного, там же в значительной мере оказывается и фокус общественного внимания — речь не об оппозиционном стремлении к преодолению запретов, а об обыденном (и, как правило, осознаваемом лишь на уровне внешних признаков бытовой неустроенности) сбое в функционировании стандартов «нормального». Вопреки распространенному тезису о позднем социализме как об обществе рас-



— Напрасно тащите, ничего не получится: я уже варила.

Г. ОГОРОДНИКОВ, В. МОХОВ (тема).

Ил. 4 (1991. № 2).

ширяющихся возможностей (конечно, по-своему неопровержимому — в том смысле, что за позднесоциалистические десятилетия существенно увеличилось количество типов опыта, от консюмеристского до интеллектуального, доступного советским гражданам), любые свидетельства о происходящем вне изолированной социальной системы означали в первую очередь расширение представлений о невозможном, о том, что в принципе нельзя буквально воспроизвести. Можно лишь имитировать, используя малопригодные для этих целей ресурсы, которые, собственно, и помечаются как «советское».

Финальные вариации вышеописанных образов «советского» хорошо известны — оно начинает видеться областью полностью истощенных ресурсов, и навык их оприходования не спасает от надвигающейся угрозы голода. Карикатура Г. Огородникова и В. Мохова, опубликованная в «Крокодиле» в январе 1991 года, демонстрирует, что закрома, в которых хранилось «общественное достояние», выпотрошены вплоть до следов глубокого прошлого, а плоть социальности обглодана до костей — несчастная семейная пара, пытающаяся вынести из палеонтологического музея скелет доисторического животного, удостоивается ехидного предупреждения смотрительницы (ил. 4):

— Напрасно тащите, ничего не получится: я уже варила.

(Продолжение следует)